

О ПОЛИТИКЕ ВНЕ ПОЛИТИКИ

(Или об иных нравственных параметрах политики)

Л. Г. ШАКАРЯН

Естественная закономерность взаимопроникновения разнородных областей социокультурных феноменов всегда была и особенно в нашу интегративную эпоху остается одним из важнейших креативных факторов их единства и взаимообогащения. Общепризнана, скажем, философская окраска художественного слова, долговечность которого иногда определяется также (а может быть, именно) этим качеством. Сама философия не прочь была пользоваться средствами художественного слова, перепробовав с этой целью чуть ли не все по сей день известные его жанры. Вряд ли кто-нибудь серьезно задумается над вопросом о том, сколько, скажем, в романе «Война и мир» или в поэме «Абул-Ала-Маари» философского и сколько художественного. Тем более везде и всюду взаимопроникают, взаимообуславливают и взаимодополняют друг друга эстетическое и познавательное, истина и красота как в науке, так и в художественном слове. В частности, создателями современной физики было установлено, что эстетические качества, а именно гармоничность и изящество, играют чуть ли не решающую роль в своеобразном критерии для определения полноты и завершенности теории. А для японского инженерного мышления эстетические качества новой чудо-техники являются не только дополнительными результатами творчества, но и одним из основных факторов вдохновения и мотивации ее созидания.

Излишне говорить и о познавательной значимости самого художественного слова. Вспомним хотя бы известные строки Белинского о том, что наука, как и искусство, отталкивается от одной и той же действительности, одна доказывает, другая показывает: ученый говорит силлогизмами, художник — образами и картинками. Еще категоричней звучат проникновенные слова великого Толстого — как бы парадоксально ни звучало — но художественное слово требует большей точности, чем наука. Видимо, поэтому «Анна Каренина» переписывалась автором почти сто раз. Констатация общих закономерностей некоторой научно-понятийной системой — будь она социологической, этической или психологической, — далеко не достаточна для точного определения логики последующих действий данного конкретного персонажа при данном стечении обстоятельств, глубокой драмы его мыслей и мистерии эмоционального мира. Не с помощью ли фантазии художника угадывались великие технические достижения человеческой мысли XX века? Не раз было замечено, что интуиция художника по восприятию нового оказывалась подчас намного сильнее научной интуиции. Недаром исторические памятники художественного слова всегда служили плодотворным полем для своеобразных археологических исследований. Именно анализ пещерных рисунков первобытных художников дал возможность структуралистам превратить дискрептивную этнографию в претендующую на точную науку — этнологию. Даже по художественному освещению такого, казалось бы, нейтрального объекта искусства, каким является природа, можно различать «своих» и «чужих» авторов, более то-

го, установить некоторые авторские социально-этнические качества и их отнесенность к данному естеству¹.

Создается впечатление, что подобное взаимопроникновение социокультурных феноменов как в предметном, так и функциональном, уж не говоря о формальном отношении, не доставляет интеллектуального или иного рода беспокойства ни профессионалам, ни непрофессионалам. Видимо, после вековых религиозных демаршей в чужие культурологические сферы в нашу эпоху единственной формой социокультурных феноменов, нашествия которой не так уж ждут и которая далеко неоднозначно оценивается в иных формах духовного освоения действительности, является политика — один из столпов духовного мира нашей непростой эпохи. В этом плане место и роль политики в наше время сравнимы разве лишь с местом и ролью науки... в эпоху самой науки.

Посмотрим, насколько в познавательном и нравственном смысле по этим фундаментальным и вечным критериям всякого духовного оправдана подобная активность политики, каково ее логико-познавательное и ценностно-нравственное содержание в наше время и как соотносятся эти компоненты друг с другом в эпоху самоуверенного сциентизма и не менее претенциозного прагматизма.

* * *

Согласно ницшеанскому совету о следовании языковой интуиции при сложных ситуациях, можно легко предположить, что когда мы говорим, скажем, в науке или в повседневной жизни: это — политика, то, как правило, подразумеваем, что **это** не по существу, что **это** непорядочно, что **это** некрасиво, словом, что **это** нравственно порочно. Такое впечатление о нравственном облике политики вне политики сложилось в силу креативно-интуитивной потенции как языка, так и обыденного, то есть донаучного мировосприятия. Пока отвлечемся здесь от факта внутренней родственности этих двух феноменов — обыденного мировосприятия и естественного (в данном случае естественного) языка. Как бы ни выступал язык в качестве формы существования обыденного со-

¹ На основе сравнительного анализа разнородных восприятий армянского нагорья в художественных описаниях отечественных и русских авторов нами была сделана попытка обосновать идею, согласно которой природа приобретает субъективно-художественную конкретность, прежде всего, в качестве национально-этнической ценности. Именно по этому параметру можно различать своеобразие художественного освоения родного и чужого краев. При этом художественное воспроизведение чужого края явно, а может быть неминуемо загружено познавательными заботами, что делает возможным лучшее изображение своего края искать в творчестве своих же художников. Еще более конкретизируя эту идею, делается вывод о том, что своеобразие поэтического восприятия карабахской природы могло бы послужить дополнительным критерием для определения «своих» и не «своих». Субъектноценностная нагруженность человеческого отношения к действительности неминуемо делает конкретной не только истину, но и красоту. Истинно эстетическое не терпит фальши. Именно в поэтическом восприятии гордо возвышающиеся над вечно зелеными долинами горы карабахские могут ассоциироваться с матерью-родиной, в остальных же случаях они могли бы воспеваться как просто неповторимо-красочный край. «Если это на самом деле, так, то анализ художественного образа Карабаха в поэтическом восприятии армянских и не армянских лириков мог бы приобрести неocenную познавательно-информативную значимость для точного ответа на мучительный, скорее, измучительный вопрос — чья ты родина, Карабах? И ответ мог бы иметь не меньшую убедительность, чем результаты всевозможных археологических, этнографических и исторических исследований» (см. Л. Г. Шакарян. Поэтическая тоска родного края (Армянское нагорье в разнообразных художественных измерениях) «Вестник Ереванского университета», 1992, № 1, с. 205—210).

знания (или мировосприятия), тем не менее, будучи самостоятельным социо-культурным явлением, он имеет свою структурную особенность и функционирует, прежде всего, по собственной логике, тем более, когда речь заходит о креативной его (языка) природе. Кстати, в этом параметре интуитивные возможности естественного языка, разумеется, намного богаче, чем возможности искусственных языковых систем². Что касается интуитивно-касативных возможностей обыденного сознания, то здесь внутреннее единство познавательных и ценностных ориентиров, а тем более при постоянном первенстве ценностного,— является богатейшим источником вечных поисков и нововведений, а под конец—эгоцентричных решений. Язык лишь улавливает и констатирует возможные тенденции. Ему не присущ ценностно окрашенный нарциссизм. Самовлюбленность обыденного мировосприятия, разумеется, ограничивает креативные возможности интуитивного рефлексирования обыденного сознания на уровне именно сознания, хотя и обыденного. В естественном же языке нет сознательного (даже обыденного), дискурсивного уровня. В этом виде вербального все происходит на подсознательном уровне. Быть может, и по этой причине говорят, что в языке не работает вопрос «почему». Здесь можно только лишь констатировать некоторую явно или не совсем выраженную тенденцию. Подобные результаты языкового творчества, по мнению Г. Ачаряна, подтверждаются скорее дискриптивным вопросом «как», констатирующим лишь совершенный или совершаемый факт.

Отсутствие подобного эгоцентризма в языке (в отличие от обыденного мировосприятия) делает его более объективным в оценке других ценностей. В данном случае нескрытый намек в языковой интуиции о политике вне политики, скажем, в искусстве или в науке, как о чем-то аморальном, а на самом деле корыстолюбивом является не чем иным, как констатацией определенного жизненного опыта. Видимо, все дело в том, на основании какого жизненного опыта, а точнее—по результатам какой практической активности сложилось подобное отрицательное впечатление и, что еще важнее, достаточна ли данная практика для определения познавательно-теоретической и праксеологической компетенции политического вне политики. Были же времена, хотя бы в недавнем прошлом, когда моноидеологические тоталитарные общественные системы порождали соответствующие политические экспансии в, казалось бы, далекие от политики области человеческой жизнедеятельности. Вспомним о гонениях на генетиков и психоаналитиков, последователей теории относительности и даже математической логики по политико-идеологическим соображениям. Еще ярче вспоминается хрущевское «политическое» руководство искусством с помощью бульдозеров³.

Однако известна и другая, диаметрально противоположная языковая подсказка. Чуть ли не на каждом рубеже развития тех или иных областей общественной жизни, то и дело слышны требования разработки соответствующей политики по развитию данной области науки, образования, экономики, даже семьи. Отсутствие подобной политики

² Говоря о математическом языке физики как о «чисто дедуктивной» системе, известный физик-теоретик Луи де Бройль утверждает: «Лишь обычный язык, поскольку он более гибок, более богат оттенками и более емок, при всей своей относительной неточности по сравнению со строгим символическим языком позволяет формулировать истинно новые идеи и оправдать их введение путем наводящих соображений или аналогий» (Луи де Бройль, По тропам науки, Москва, 1962, с. 327).

³ Как показал последующий период истории страны, подобное руководство наукой или искусством далеко не из тех случаев, когда от политических мужей требовалось, как утверждают исследователи, «применение «плохих» средств для достижения «хороших» целей» (см. Amy Gutman and Dennis Thopson, Ethics and Politics, USA, 1990, p. XIII).

интуитивно (по языковой интуиции), да и весьма сознательно воспринимается как существенный изъян в руководстве обществом.

Основную причину подобной **ценностно-двойственной** характеристики, разумеется, следует искать, прежде всего, в природе данного явления, а именно — в структуре самой политики в качестве социо-культурного феномена, в ее призвании, а следовательно, и функциональной определенности, в ее роли не только в духовном мире общества, но и в непростой системе практического руководства обществом.

В данном случае нас интересует не природа политики вообще, а только лишь проявление этой природы в иных социально-культурных феноменах. Кстати, думается даже, что в «ином» мире функциональная природа политики в некотором смысле проявляется более выпукло, чем в сугубо политических баталиях. Такое впечатление создается, в частности, при анализе своеобразия ее **познавательных и нравственно-антропогенных** качеств. В этом плане наиболее типичными представляются **политическое мифотворчество**, как, скорее, познавательный феномен, и **политическая самовлюбленность** (своего рода самомифизация), как, скорее, нравственный феномен.

Как бы парадоксально это ни звучало, в политике, считающейся одним из самых рационализированных социо-культурных феноменов, больше пользуются услугами дорациональных форм мировосприятия, — в частности, мифотворчества, — чем в других социо-культурных образованиях. Политические мифы — относятся ли они к социальным явлениям (мифы коммунизма, пролетариата), расистско-биологическим (фашизм), национально-этническим (национализм всех мастей), культурологическим (религиозный фанатизм), или социо-этническим (вождизм разных рангов) и т. д., — являются своеобразными идеализациями и, разумеется, играют определенную положительную роль для опережения насаждаемых идей, для мобилизации масс и их стремлений. Как правило, именно подобным логико-гносеологическим и этнокультурологическим арсеналом пользуется политика в своем функционировании по руководству обществом.

Исследователи данной проблемы справедливо замечают, что эффективность мифотворчества одновременно предполагает «несомненную слабость общества, которое не может без него обойтись»⁴.

Вообще-то мифотворчество сопровождает политическое мировосприятие, быть может, начиная с его возникновения. Ведь уже в античности политическое отождествлялось с цивилизацией в целом, наивысшее же проявление политического — государство — считалось у Платона, например, чуть ли не основным стержнем человеческого бытия, даже в личностном плане. Отметим также тот немаловажный факт, что политические мифы — не только результат соответствующих теоретизированных абстракций. Они муссируются не только сверху, но и (а может быть и **главным образом**) на **социально-подсознательном** уровне, тем более в экстремальных условиях. Понятно, что политические божества подобного происхождения более жизнеспособны, чем их насаждаемые сверху аналоги. Именно этим обусловлена их существенная роль в политической жизни всякого общества. Во всех случаях, будучи одним из рационализированных социо-культурных явлений, политика, как и религия, ориентирована на превращение своих принципов во внутреннее «я» своего объекта. По происхождению, да и по существу, политика, как правило, — власть внешняя над человеком, в отличие от нравственности, всемогущая которой обусловлено внутренним статусом. Политика, как и религия, стремится превратить свою власть во внутреннюю именно через мифизацию собственных идеализаций. Больше

⁴ И. И. Кравченко. Политическая мифология: вечность и современность. — «Вопросы философии», 1990, № 1, с. 8.

всех других духовно-культурологических феноменов именно они — политика и религия претендуют на власть над душами, которая, видимо, является самой действенной властью среди ее возможных форм. Недаром в библейских писаниях предупреждается: «бойся того, кто может убить душу, а не тело». Однако политика добивается этой цели скорее рациональными средствами, тогда как религия применяет, в принципе, нерациональные средства. В обоих случаях убеждение осуществляется в конечном счете принуждением. Горький исторический опыт показывает, что самые грубые, в том числе насильственные средства играли далеко не второстепенную роль в последних актах политической сцены. Именно подобное внутреннее родство, мифогенная и мифообильная природа религиозного и политического подчас создавали возможности их объединения и в историческом прошлом, и в нашу цивилизованную эпоху — в эпоху разъединения политической и духовной властей. Об этом свидетельствуют, в частности, великие политические мифы XX века — фашизм и большевизм, восстановившие «архаичный принцип единства царства, священства и пророчества, когда вождь одновременно выступает и как носитель политической власти, и как жрец»⁵. Быть может с той только разницей, что если раньше жрецы наделялись властью, то в нашу эпоху властители перерастают в жрецов. Кстати, этот феномен «фюреризма» свидетельствует еще о том, что политика активизируется не только там и тогда, где и когда буксует экономика. Всякое нарушение равновесия общественной жизни, в принципе способно политизировать поэзию и поэтизировать политику, т. е. создавать почву для того, чтобы некоторый социо-культурный феномен стал лишь только средством для реализации целей другого, как это случилось, например, в эпоху «партийности литературы», когда искусство пытались превратить в рупор политики. Разумеется, подобная практика свидетельствует не об активизации политики, а о ее деформации. Всякое нарушение демократических начал самоуправления и саморазвития социо-культурных сфер и их столь же естественных взаимосвязей приводят к соответствующим разнообразным аномалиям в функционировании политической структуры общества. Типичной иллюстрацией тому может служить современная армянская действительность. Деформированное общество породило столь же деформированную политическую жизнь. Кажущаяся активность — неоправданно большое количество партий, движений и квазиидеологических течений, лишенная сколь-нибудь серьезных социально-культурологических оснований воинствующая непримиримость, — все это признак не активности, тем более не расцвета политической жизни общества, а скорее тревожные симптомы его достаточно серьезной болезни, диагноз, которой мог бы звучать как «крайнее мифотворчество». Тщетная попытка превращения политики в панацею от всех бед общества — явный пример нарушения принципа «пределов роста» и верный путь превращения в свою противоположность пусть даже самой благородной идеи. Чрезмерная активность политической жизни в современном армянском обществе скорее мешает, чем способствует его оздоровлению. Вся энергия рабочих (скорее — бывших), крестьян, новоявленных бизнесменов и задыхающейся интеллигенции, еле выживающих производственников и многострадальной армии безработных специалистов всех рангов — словом, вся интеллектуальная и физическая энергия плюс остатки материальных средств страны направлены (особенно в предвыборные периоды) на выдвижение «своих» на руководящие политические посты. Не является ли такой, мягко говоря, ажиотаж очередной попыткой «очеловечивания» небесных божеств? Ведь очевидно, что было бы куда более продуктивно, если бы все трудились на своих местах в соответствии с собственным социальным и профессиональным призванием.

Своеобразную форму политического мифотворчества, а может быть

⁵ А. С. Панарин, *Философия политики*, Москва, 1996, с. 28.

и более типичного проявления нравственного облика политики, пожалуй, можно наблюдать в личностных ее олицетворениях, в тех довольно распространенных, особенно в нашей действительности, социально-психологических феноменах, которые можно концептуально назвать **политическим мещанством**.

Думается, что из всех форм человеческой социально-психологической активности именно политическая деятельность обладает большой потенциальной возможностью мещанского перерождения. Это обусловлено не только «социальным статусом» политического деятеля, его приспособленческим поведением, дабы заполучить доверие разнородных социальных групп (а в социальном плане мещанство определяется как колеблющееся и приспособленческое социально-политическое поведение) и не только обыденной личностно-психологической слабостью, характеризующейся эгоистическими склонностями или отсутствием высоких социально-культурологических идеалов. Политическая разновидность мещанства, помимо социально-политических и личностно-психологических свойств, имеет также сугубо профессиональную окраску. Вечная проблема завоевания симпатии электората заставляет политического деятеля во что бы то ни было постараться быть «любимчиком» для весьма разнообразных социальных, культурных, этнических, региональных, даже возрастных групп. Подобная разношерстная личностная потребность не может не порождать соответствующий психологический склад даже у самого «устойчивого» политического деятеля.

К сказанному можно добавить и национальную особенность мещанства, тем более, если речь идет об армянской его разновидности. Известная эгоцентричность в армянских этно-психологических пластах — неизбежное последствие отсутствия государственной организованности нации и вековых традиций свояко-общинного бытия — подчеркивала место и роль армянского «я» во всех сферах человеческого бытия, будь то социально-политическая или обыденно-бытовая сфера⁶. Явным свидетельством тому являются бурные политические баталии в постсоветской армянской действительности, где, мягко говоря, личная неприязнь составляет чуть ли не стержень «политической борьбы» во всех ее разновидностях. Невольно вспоминается известное утверждение о незабвенном классике: про Маркса говорили, что у него были тысячи идеологических врагов, но ни одного личного. В современном армянском варианте политических страстей редко различаются границы между *homo sapiens* и *homo politicus*, между обыденными и политическими отношениями.

Иногда подобные общежитейские сцены политической культуры (или бескультурия) доводят до философских размышлений о том, какие слабости присущи нашей древней культуре и почти без особых затруднений речь может пойти о деформированности самого политического сознания и незрелости обыденного в армянском мировосприятии. Возможно, именно о правомерности такого заключения свидетельствуют вышеуказанные смещения границ между обыденными и политическими отношениями в нашем национально-политическом мировосприятии.

Во всех случаях, основной формой проявления политического мещанства остается **гипертрофированное функционирование** политического сознания (разумеется, это тоже является своеобразным проявлением его недоразвитости).

Подобное, далеко неадекватное своему назначению функционирование политического сознания приобретает новое, в нравственном пла-

⁶ Кстати, все тот же этно-психологический фактор одновременно послужил дополнительным стимулом в усилении личностных качеств у армян, о чем могут свидетельствовать профессионально-личные всемирно известные достижения наших соотечественников в науке и искусстве, а также в индивидуальных видах спорта, в частности, в шахматах.

не еще более худшее, качество, когда видоизменяются его субъективные параметры, когда происходит переход от личностного уровня мещанства к коллективным его разновидностям. В плане самого политического — это «лучшая государственная система», «самое демократическое общество», «самая справедливая партия» или «самая действенная законодательная система».

Видимо, нет надобности доказывать, что, на самом деле, политический нарциссизм является опаснейшей формой нарциссизма, если учитывать тот факт, что в своих наивысших проявлениях политика претендует на руководство всем обществом. Ведь нарциссизм как высшая форма самовлюбленности (а скорее, самомифизации) лишен способности самокритики (как и во всяком мифотворчестве), самоанализа и саморефлексии. О последствиях, к которым привела эта социально-нравственная болезнь политического руководства обществом, можно судить по широте и глубине развалин (социальных, экономических, нравственных и т. д.) бывшего великого СССР.

Мещанство, как осознанная или неосознанная мифизация собственного «Я», на таком высоком уровне является не только самым верным способом самоубийства для данной политической силы, но и, что еще опаснее, для руководимого ею общества. Главной опорой политического мещанства — будь то на личностном или коллективном уровнях — была и остается не заработанная справедливым путем власть.

Опасность мещанского (в том числе политического мещанского) разращения общества еще более подчеркивается в современной армянской действительности не только в силу вышеуказанного факта активности «я» в армянском этно-психологическом мировосприятии, но и в силу сложившихся деклассированных, депрофессионализированных, сверхполитизированных и в какой-то мере денационализированных общественных отношений, где это «я» пробуждается с новым содержанием, где мещанство перестает быть локальным социально-психологическим феноменом и приобретает чуть ли не всеобщий характер. Именно скорее как политический феномен (что еще хуже) мещанство становится антропогенным фактором для деклассированных элементов, несостоявшихся профессионалов, всевозможных посредственностей, даже для лиц с криминальным прошлым. Является ли антропогенным, человекоразрушающим это новоприобретенное ампула или человекоразрушающим — нетрудно догадаться. Не об этом ли свидетельствует многозначительный факт чуть ли не тотального стремления заседать в Национальном собрании или претендовать на президентское кресло независимо от своих способностей, образовательного или интеллектуального уровня?

Деформированная социально-профессиональная структура общества неизбежно приводит к соответствующему искажению личности и всевозможных межсубъектных отношений. Производственники покидают свое предприятие, служащие — свои кабинеты, ученые — лаборатории, и почти все стремятся в политику, где вряд ли создадут материальные и духовные ценности (что еще более безнадежно). Разумеется, речь идет не о той политике, которая способна руководить страной: экономической, социальной сферой и т. д. Наоборот, это та политика, которая способна лишь паразитировать на руинах бывшего общественного богатства.

Итак, коренные структурные и функциональные нарушения соотношений жизненных артерий общественной жизни породили массовую, а потому и худшую форму мещанства, его изуродованную политическую разновидность в нашем обществе и, в конечном счете, мифизацию политических субъектов всех рангов.

Очевидно, тайна исцеления от этой социально-психологической болезни заключена в устранении порождающих ее причин, в гармоничном функционировании всех звеньев общества, особенно его экономических

основ, а также в возрождении духовной культуры, в том числе современного гражданского и профессионального достоинства.

Итак, мудрость культуры исключает излишества, а всякая система — духовная или «механическая» — характеризуется не только собственной природой, но и природой ее применения. Нецелевое или просто некомпетентное ее применение никак не может служить основанием для оценки данной системы в целом. Вечная оппозиция к политике нравственности, как правило, относится к сложностям ее функционирования, а не к ее генетической сущности или социо-культурному призванию. Ведь политика никак не является «ошибкой» человеческой природы. Ассоциирование политики с ошибкой или с ее этическим двойником — безнравственностью, как это делает. Н. Бердяев, само рискует быть ошибочным⁷. Ошибка политики как социо-культурного феномена принципиально ничем не отличается от основной закономерности совершения всяких ошибок. Речь идет о требовании древнейшей мудрости — соблюдении меры. В количественном плане политические заблуждения обычно выступают в одном измерении — в чрезмерности. «Меньшей» политики, как правило, не бывает. Обществу скорее мешают ее «большие дозы». Если продолжать анализ на языке «медицины», то, видимо, следовало бы сказать, что политические болезни общества носят скорее функциональный характер, а не субстанционально-генетический, что неизбежно приводит к соответствующим структурным изменениям.

Перспективы функционального, а следовательно и нравственного облагораживания политики в качестве социально-методологического феномена вряд ли следует искать только лишь в развитии самой политики или в иных частных социо-культурных сферах, в том числе и в нравственном усовершенствовании общества, пусть даже всего человечества, в развитии экономических отношений, в консенсусе мировых религий или формировании общечеловеческих властно-политических образований с соответствующими строго узаконенными нормами поведения. Было бы своеобразным политическим романтизмом связывать подобную надежду даже с последующей демократизацией общественных институтов.

Думается, именно подобный романтизм просматривается в рассуждениях американского исследователя этой проблемы Дениса Томсона. По его мнению, взаимосовместимость этики и демократии — «это более «интимные» взаимоотношения, чем могли бы предположить философы — этики или теоретики демократии. Хотя этика и демократия ставят серьезные проблемы друг перед другом, тем не менее они же предоставляют друг другу возможность для решения этих проблем»⁸. Оказывается, политическая этика обеспечивает поддержку для демократической политики множеством способов⁹, а «в свою очередь демократическая политика поддерживает политическую этику. Очень много споров о политической этике, даже о фундаментальных принципах, должны решиться окончательно или хотя бы частично с помощью механизмов демократического процесса»¹⁰.

⁷ «В политике,—пишет Бердяев,—огромную роль играет ложь и мало места принадлежит правде. На лжи воздвигались государства и на лжи они разрушались... Макиавеллизм не есть какое-то специальное направление в политике Ренессанса, но есть сущность политики, которую признали автономной и свободной от моральных ограничений» (цит. по книге «Мир философии», ч. II, Москва, 1991, с. 51).

⁸ Dennis F. Thomson, *Political Ethics and Political office*. Harvard University Press, USA, 1987, p. 3.

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid. Видимо, можно понять американского автора-теоретика политики из страны с сильной политико-правовой организацией, но далеко не богатой культурологическими традициями. Трудно принимать эту идею не только для общества эпохи Макиавелли, но и для всех времен, когда становление демократических институ-

Политика — это ориентированное на руководство обществом искусство, своего рода методология глобального функционирования всего общества. В этом искусстве как и во всякой методологии, сколь высоко значима истина, столь же фатально погубно заблуждение. Оба имеют подчеркнутую ценностную нагруженность — истина ведет к мудрости, заблуждение же, в конце концов, к глупости. Избежать заблуждений в политике или обеспечить ее ценностно-нравственное облагораживание невозможно, пока нравственные критерии не покинут традиционные региональные поля функционирования, т. е. пока нравственным будет считаться то, что служит «передовому строю» общества или столь же «передовому классу» (скажем, пролетариату), некоему культурологическому феномену (исламу или христианству), некоему образу жизни (например, западному).

По тем же соображениям, в конечном счете, функциональное призвание политики — все же общечеловеческое поле. Ее нравственное оправдание, естественно, должно измеряться подобными же мерками, а именно тем, насколько эффективно политика служит прогрессу всего человечества. Такое впечатление, что по-новому переосмысливается аристотелевская мудрость об отождествлении политического с цивилизованным вообще.

Как политике, так и нравственности, по крайней мере в наш век, нашпигованный ядерными ракетами, смертельно опасно продолжать оставаться многомерными. Осознание одного, единого для всего человечества измерения, как для политики, так и для нравственности, — думается, именно на этом пути следует искать спасение нашей цивилизации от реальной на сегодняшний день возможности ее гибели. Социальная, культурная, расовая или национальная многоликость человечества никак не исключает, а наоборот, ради ее же сохранения, предполагает нравственно-политическую однородность.

Таким представляется возможный путь спасения самой политики — как достойной цивилизованного общества формы человеческой деятельности — от «болезнетворной» и нравственно порочной «профессиональной» активности.

Լ. ՉՐ. ՇԱՔԱՐՅԱՆ — Քաղաքականության մասին քաղաքականությունից դուրս (կամ քաղաքականության բարոյական այլ շափումների մասին). — *Սոցիալ-մշակութային երևույթների փոխներթափանցման օրինաչափությունների հենքի վրա փորձ է կատարվում բացահայտել քաղաքականի բարոյախմացարանական յուրօրինակությունները մշակութային այլ համակարգերում: Հիմնավորվում ու զարգացվում է այն թեզը, ըստ որի քաղաքականության բարոյախմացարանական բացասական դերը մշակութային այլ համակարգերում առավելագույն պայմանավորված է քաղաքականության կուլտուրաբարոյության ու նարցիսիզմի (քաղքենիության քաղաքական տարատեսակի) ավանդական դրսևորումներով: Ընդ որում, վերջինս՝ նարցիսիզմը (անհատականացված թե կոլեկտիվ դրսևորումներում), դիտարկվում է որպես քաղաքական կուլտուրաբարոյության յուրօրինակ տարատեսակ:*

Բնականաբար, տեսական հիմնախնդիրների քննարկումներն առնչվում են հայկական էթնոհոգեբանական յուրօրինակությունների ու ժամանակակից քաղաքական կյանքի բազմաբարդ իրավիճակների հետ:

Վերջում համոզմունք է հայտնվում, որ քաղաքականության՝ իբրև հասարակական օրգանիզմի ղեկավարման մեթոդաբանական արվեստի, ապակուլտուրաբարոյության հեռանկարները կապվում են ոչ միայն հասարակական կյանքի ժողովրդավարական վերակառուցման (քաղաքական ուղեգրով), այլև ողջ մշակութային օրգանիզմի հետագա ներդաշնակ զարգացման հետ:

тов сталкивается не только с серьезными проблемами политической этики, но и с новыми устоявшимися вековыми традициями.